

Дмитрий АНИКИН

ПОЛУ-ЖАЛОСТЬ, ПОЛУ-ОТВРАЩЕНЬЕ, ПОЛУ-НЕИЗВЕСТНО ЧТО, ПОЛЫ МОЕГО ПАЛЬТО...

«Пушкинская Россия, почему ты нас оставила, зачем ты нас предала?» До сих пор задаём на все четыре стороны этот вопрос, и ожидаемо нет никакого ответа. Только «скука мирового безобразия» становится всё свинцовой и безысходней, становится привычной и даже необходимой. Уже и не представляем себе, как без этой скуки можно было...

– Эй, пушкинская, почему предала?

– Да как вас таких можно было не предать? Скучно с вами и безобразно.

Чего расстраиваться? В конце концов, Пушкину тоже не помогла «смутная, чудная музыка, слышная только ему». И нам не поможет. Ни пушкинская, ни тем более своя собственная. Приходится как-то жить, быть «со всякой сволочью на ты».

Толчея в «Бродячей собаке», шум, гам, звон бокалов, как на больших похоронах. То, что вдыхается, — это уже не воздух, это какой-то сплошной дым, чад! Но какая поэзия! Годы реакции оказались лучшими годами России! Лучшие люди занимались саморазрушением, чтобы у сволочи, равно государственной и антигосударственной, была возможность без помех разрушать Россию.

Иванов вошёл в русскую литературу не с чёрного хода — это был бы вполне себе почтенный способ, — а с какого-то северянинского входа для коммивояжёров.

На то, что он писал до сборника «Сады», привыкли смотреть свысока, но в ювенилиях есть очень достойные стихи, это всё стихи приличные, эстетически верные. Отличное начало для того, кому волей-неволей предстоит писать об общем распаде.

Поэту прощается больше, чем остальным. Единственная льгота в остальном безотрадного существования. Даже предательство самой поэзии может проститься как некая невинная шалость. В начале Первой мировой Иванов разразился множеством кровожадно-глупо-сервильных текстов.

И гряхлые цепи тевтонских коварств

Не сдержат возмездия лаву.

И рухнут престолы неправедных царств

Славянскому царству на славу!

Или ещё вот, с посконно-православным душком:

Ядовитые газы, сверканье меди,

Поггибаются ноги, и сохнут уста...

Но отважно герои стремятся к победе,

К лучезарной победе любви и Христа!

Дело понятное: платили в «Лукоморье» щедро, было за что продать душу. Это уже потом, в Европе, «бери бесплатно. Не берёшь?» Обычно черт платит человеку золотыми монетами, которые при свете дня превращаются в черепки, но при сделке с поэтом расчёт иной, при сделке с поэтом чёрт обморочен и получает строки, которые и черепков не стоят.

Война обостряла чувства и чувственность, война казалась концом света, но была только прологом к по-настоящему страшным событиям. Во время войны жизнь ещё продолжалась, может быть, только по инерции, может быть, уже стесняясь собственной продолжительности.

Мистика со смазным охотнорядским душком, мистика с изошрённым ароматом контрразведки, какая ещё мистика пронизывала город, обрекала его жителей на смутное, неверное существование? И только знающий ответ на последние вопросы Гумилёв посматривал на жалкое мельтешение свысока, понимая, что придётся ему расплатиться и за свою твердость, и за чужую гибкость.

Чудотворцы не могли сотворить чуда и спасти эти сумерки в Костромской губернии, эту царскую семью. Сумерки оглашались ором черносотенного сброда, царь был слаб и глуп, но разве это имело значение? Надо пытаться сохранить ту малость, ту мерзость, которая досталась нам на долю.

Композитор Ц. устраивал концерты для глухонемых. Это была страшная беззвучная музыка, ею вдоволь наполнил себе уши 20-й век. Это было то подлинное, что пытались заглушить жаз-бандами.

В полном, определённом, абсолютном распаде личности и таланта тоже есть какое-то присутствие Бога, какой-то чёрный немеркнущий свет; мало кто этот свет может замечать, для этого нужно особенное зрение, тот самый талант двойного зрения, что способен исковеркать не только жизнь. Иванов, который смог сохранить и приумножить свой талант, чувствовал всегда бывший рядом другой вариант своей судьбы, заигрывал с этим вариантом. И мелькали на страницах воспоминаний: Цибульский, Тиняков, Игнатъев, отец и сын Фофановы, другие, имя которым легион.

«Холодное солнце садилось за синий и дальний Кронштадт». Гумилёв писал свои прокламации, призывающие питерский пролетариат поддержать восставших. Как дождалась Россия до такого, что её последние надежды — на тот же матросский сброд, который погубил её в семнадцатом... Но даже эти надежды не сбываются...

«Петербург незабываемый» пережил свою культуру и стал городом-памятником. Смерть Петербурга нашла себе много летописцев, одним из наиболее точных был Иванов. Когда Петербург кончился, поэт собрал вещи и уехал. Остаться было негде. Паспорт сторел, гражданства не стало.

Представился выбор: либо европейский Лимб, либо оставшиеся восемь кругов большевистского Ада. А уж так повелось со времён Данте, что место настоящего поэта в Лимбе. «И начался героев-нищих позорный путь и торжество...»

После публикации «Петербургских зим» зашумели-загадели дожившие герои и родственники недоживших. Как будто правда нуждается в дотошной фактической достоверности. Жизнь сама по себе врёт как сивый мерин, и надо хорошо потрудиться, чтобы из негодящего материала правду устроить. Лучшие воспоминания о Серебряном веке — отчасти и создавшие этот век. Как Гомер «построил и разорил Троию».

Одоевцева, закончив «На берегах Невы», написала «На берегах Сены». Иванову, находившемуся в центре литературной жизни русского Парижа, тоже, наверное, было что написать, но он остался верен своему Петербургу.

Ахматова возмущалась. Но с какой нежностью, с каким уважением он писал об Ахматовой! «Вас здесь не стояло», — говорила она об эмигрантах. Ну так, может быть, здесь и не надо было стоять? «Предсказала мне Ахматова: «Этот вечер вы запомните»». И он действительно всё запомнил.

Когда я читал в «Петербургских зимах», что умирающий Блок требовал принести ему оставшиеся экземпляры поэмы «Двенадцать», чтобы сжечь их, сжечь до последнего, мне очень хотелось верить, что это было именно так. Но казалось: Иванов хотел оправдать Блока там, где оправдания быть не могло. Гениальность поэмы только усугубляла её чудовищность. А теперь находятся свидетели, подтверждения: действительно требовал вернуть, действительно сжигал.

Иногда мне кажется, что основной мотив «Петербургских зим» — это дружба. Дружба с Гумилёвым, с Мандельштамом, даже с Северяниным. Братство поэтов, цеховое братство. Священный союз.

Всё говорится с некоторой отстранённостью, с некоторой иронией, но и с какой любовью к самым нелепым и отвратительным обитателям этого мира, этого Серебряного века.

Европа слушала *жаз-банды*, а «до поэзии, до вечной русской славы» ей дела не было. Может быть, и зря. Хотя Россия до четырнадцатого года зачитывалась стихами, но тоже не убереглась.

Авторские права чтислись. Шилейко изобрёл «жора» — стихотворение любого смысла и формы, но с неперемной последовательностью букв «ж-о-р-а» в каждой строчке.

*Свежо рано утром. Проснулся я наг.
Уж орангутанг завозился в передней.*

Писать «жора» можно было только с разрешения изобретателя. Иванов такое разрешение испрашивал, но не получил, что, вероятно, лишило русскую поэзию нескольких маленьких шедевров.

Есть ли тот порог, перешагнув который бездарность обретает некое новое звучание, как будто пишется какая-то поэзия с другой стороны? У Ходасевича есть статья об отрицательной поэзии; так вот, про самый известный пример — «повис Иуда на осине, сперва весь красный, после синий» — выяснилось, что это сам Ходасевич сочинил. А если бездарность всегда тускла, тупа и неинтересна, то значит, и образцы прекрасной графомании, которые приводит Иванов, имеют солидное авторство. Что-то вроде «античных глупостей». Уж не сам ли он сочинил эти маленькие шедевры? Если нельзя писать «жору»...

*И я, от этой жизни плоской
В мечты красивые уйду,
Дымлю душистой папироской,
Лежа на шкуре медведя.*

Ну разве не прекрасно? Разве не прямой наследник Козьмы Пруткова это писал? Признанный мэтр. Что ж, и эту личину надо попробовать. Слава Богу, самоиронии не занимать.

Критические наблюдения Иванова были умны и безжалостны.

Стареющая Исидора Дункан подходит к красивому мальчику, нашему Лелю, и ласково треплет его по щеке. «Пошла на...» — спьяну отбрёхивается Лель. Нужно было обладать настоящим, не тонким вкусом, чтобы понять: крестьянская поэзия — это то, что делает Ключев. У Есенина, впрочем, голос тоже был подинный, но это голос московского мещанства, с пьяной хрипотцой и отталкивающей искренностью.

Трагическая фигура Хлебникова заворожала русскую поэзию. Дервиш! Ну и пошли захлебывающиеся славословия. Иванов остался одним из немногих, кто не поддался очарованию, а увидел несчастного полусумасшедшего, чьи невнятные бормотания ушлые футуристические дельцы объявили поэзией.

Вообще, способность не поддаваться очарованию — одна из самых важных способностей в 20-м веке. Кто из русских эмигрантов в 45-м году не готов был прославить Красную армию! Даже умнейший и жёлчнейший Бунин ходил пить шампанское в советское посольство, и какая потом очередь выстроилась из тех, кто единственный смог отговорить первого русского *нобеля* от переезда в Совдепию.

Похоже, только Иванов и его извечный ненавистник Набоков остались трезвы... Набоков — потому что не пил, Иванов — потому что утерял способность пьянеть.

Есть проза, написанная поэтом, и есть проза поэта. Проза поэта — это ошметки мыслей, образов, не попавших в стихи. Есть до этих странных текстов свои любители.

Иванов замечательно писал честную, настоящую прозу: «Петербургские зимы», «Китайские тени», «Третий Рим», но не удержался — написал «Распад атома»... Ненаписанная поэма.

«И за краплёную статью побили Джонсона шандалом», — написал Набоков, сам большой мастер краплёных статей. Набоков много настоящих эстетических границ переступил, а на одной, неважной, запнулся: всё ему казалось, что литература не должна допускать нечистоплотности. Потому Достоевского не принял, Иванова презирал. Да и от некоторых гоголевских черт его передёргивало.

Долго путь от напояженного, накрашенного Жоржика до шепелявой тени, до смердящей развалины с репутацией коллаборациониста и антисемита. И каждый шаг на этом пути был сознательным, и каждый шаг на этом пути был поэзией. Раз нет настоящего коллаборационизма и антисемитизма, значит, надо их придумать. Почему бы после войны не подписываться: «Ваш преданный антисемит»?

Проклятые поэты — это французская задумка, с окончательным бесстыдством воплощённая русскими в Париже.

Самоубийство — слишком яркий, слишком нарочитый, слишком безвкусный выход из затянувшейся, набившей оскомину жизни. Есть ситуации, когда самоубийство эстетически, а равным образом и антиэстетически не оправдано. И даже не развлечёшься этим делом...

Нищенская смерть тем хороша, что ничего хуже и быть не может. Нищенская смерть в Европе ещё и вполне себе комфортна. А нищенская смерть, рассказанная в стихах до последнего вздоха, — это такая поэзия, что последние атомы распадаются.

Сократ после суда, перед казнью, начал писать стихи. Пеан Аполлону. Правильно: когда умираешь, то не до философии. «Так долго, страшно умирал...»

Если в чём и есть преимущество цивилизации перед варварством, так это в том, что последние стихи Иванова сохранились, а последние стихи Мандельштама нет.

Есть версия, что Иванов уже не мог «соединить в создании одном прекрасного разрозненные части». Были отдельные слова — полувздохи-полустоны, а Одоевцева записывала уже в виде стихов. Тут дело тёмное, но разве это так важно, чьим очерком? Катон Цензор называл рабов говорящими орудиями труда, а тут — пишущее орудие поэзии. Всё равно стихи — Иванова. Что бы там знающие филологи ни говорили.

Все цитаты — по памяти, все цитаты — не проверены. Это так и надо, когда пишешь о мастере неточной цитаты. «На холмы Грузии легла ночная мгла». Цитата — это непрямо высказывание, а искажённая цитата — это чуть-чуть исправлённое, чуть-чуть более искреннее высказывание.

Сколько написала, наболтала русская литература о судьбах России. Было прекрасное и отвратительное, божественное и безбожное, на любой вкус: и арбуз, и свиной хрящик. А правду сказали двое — Тургенев и Иванов. В 19-м веке, когда у страны ещё были пути, Тургенев устами одного из своих героев произнёс: «Цивилизация». В 20-м веке Иванов подытожил историю России: «И ничему не возродиться ни под серпом, ни под орлом».

Недолго осталось. Скоро «припадок атомической истерики всё расточит в сиянье синевы».

РАЗБИВАЮЩИЙ ЛЁД

Была в 90-е странная песенка — «Сила полной луны». Вроде и ничего особенного, но чувствовалась в ней какая-то потугосторонняя притягательность. Только потом я узнал, что автором слов был Кузмин.

Как он говорил про свои песенки: «Это не музыка — музыка, но в ней есть яд!» И яд этот до сих пор не выветрился.

Кузмин был прекрасным музыкантом и исполнителем. По легенде, он и писать стихи начал только потому, что не хватало чужих текстов для песенок. Не бегать же по товарищам-поэтам, выпрашивать.

Вести происхождение российской бардовской песни куда почётней от Кузмина, чем от Вертинского.

«Дитя, не тянися ве-ве-весною за розой», — пел в «Бродячей собаке» Кузмин. По меткому замечанию Сологуба, «заикающийся соловей». Рассказывают, что и на рояле он играл, несколько заикаясь. И виртуознее у него выходило, если на расстроенном рояле.

Первая публикация Кузмина была в «Зелёном альманахе». Рядом был напечатан роман Вячеслава Менжинского.

*Может, ещё и поэтому так долго не трогали, дали дожить до своей смерти?
Как песня матери
Над колыбелью ребенка,
Как горное эхо,
Утром на пастуший рожок отозвавшееся,
Как далёкий прибой родного,
Давно не виденного моря,
Звучит мне имя твоё
Трижды блаженное:
Александрия!*

«Александрийские песни» стали удивлением для русской поэзии. А что, можно и так писать? Можно так писать, можно так петь. Это были действительно песни. И (насколько благословенны те времена!) это были модные песни.

*Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
А может быть, нас было не четыре, а пять?*

И как, прочтя эти строки, не вспомнить такие же вольные, александрийские стихи другого знатока оборотных сторон любви — Константиноса Кавафиса?

Первым, кто стал в Советском Союзе профессионально заниматься поэзией Кузмина, был Геннадий Шмаков, автор эталонных переводов Кавафиса и тоже человек с однозначной репутацией.

Кузмин оценивал свои сборники и даже выставлял им оценки. По школьной методе — от двух до пяти.

Кузьмин. Даже в серьёзных изданиях так и норовят написать фамилию с ошибкой, так и напрашивается мягкий знак.

*Декабрь морозит в небе розовом,
Нетопленный мрачнеет дом.
А мы, как Меншиков в Березове,
Читаем Библию и ждём.*

*Никто не говорит о Врангеле,
Тупые протекают дни.*

В одном из эмигрантских изданий был напечатан некролог барона Врангеля, называвшийся строкой из этого стихотворения. Такое цитирование могло плохо закончиться для Кузмина, но, к счастью, обошлось без последствий. Чекисты не заметили? Или поэта спасло то, что стихи в журнале были подписаны фамилией «Кузьмин»?

Кузмин любил создавать легенды о себе. Что выгодно отличало его от других рассказчиков — он не претендовал на то, чтобы верили. Рассказывал, как год прожил в уединённом итальянском монастыре, подвизаясь в молитвах и аскезе, которые доводили до глубоких обмороков, и как, очнувшись после одного из них, увидел склонившегося над собой монашка невиданной красоты. Это был монах или чудесное видение? Был ли вообще этот монастырь? Или одна мечта сменила другую, мечту об аскетическом подвиге — мечта о любви?

Кузмин говорил, что он хочет быть католиком, но не желает им становиться.

Кузмин, иногда поражающий глубиной познаний самого Вячеслава Иванова, умел писать так, чтобы груз учёности не мешал лёгкости стиха. Прекрасная ясность. Было даже придумано целое литературное течение под одного Кузмина — кларизм. Сам Кузмин, впрочем, относился скептически ко всем течениям и теориям. И правда, толку

от них, кроме литературной, эпиграммной ругани, никакого.

Мы делим общий рефекторий

И жар домашнего огня.

Про вас держу запас теорий:

Вы убегаете меня, —

писал в стихотворении, обращённом к Кузмину, Вячеслав Иванов. Кузмин несколько лет жил в квартире («башне») Иванова, где ему были выделены две комнаты, и не только умудрился избежать влияния Иванова, но и сам смог повлиять на мэтра — чего стоят затеянные по идее Кузмина «Вечера Гафиза».

Покинуть «башню» пришлось, когда Вера Шварсалон, будущая жена и настоящая падчерица от предыдущей жены Иванова, предложила Кузмину вступить с нею в брак.

Покинув «башню», Кузмин оказался в обществе менее почтенном, но более подходящем.

Насколько всерьёз относился Кузмин к своим гностическим стихам? Думается, что всерьёз. Слово «стилизация», так часто употребляющееся, когда речь идёт о Кузмине, кажется мне ложным, легковесным.

Гнозис был одной из основ кузминской религии. Обрядовое православие, старое и новое, по народным и по церковным образцам, тоже было для него родным. Католичество, русское сектанство различных толков — всё переживалось как равнозначные религиозные опыты. И язычество не было в пренебрежении.

Кузмин не любил разговоров о поэзии. Если рассказывались, обсуждались сплетни — о да! — он весь внимание. А поэзия — ну чего о ней говорить? Написано — и с плеч долой.

Какая-то опереточная внешность, одно слово — знатный испанец. Или по-другому: хитрый мужичок в поддёвке, с подведёнными глазами — Клюев до Клюева, Распутин до Распутина. Дурновкусие? Отчасти, но какое милое дурновкусие! Дурновкусие, осознающее себя дурновкусием, берущее себя в кавычки, как бы цитата из чужого, пошлого стихотворения, великая пародия на незначительный образец. Так «Дон Кихот» откликается на бездарные рыцарские романы.

Вокруг Кузмина всегда вилась стайка молодых людей, называемых «юрочки». Среди них были такие известные, как Всеволод Князев и Георгий Адамович. Потом явился, по меткому выражению Тэффи, «юрочка в квадрате» — Юрий Юркун.

Смесь старообрядчества и эллинизма. Византийствующий маркиз. И еще много разных невообразимых смесей. Как будто Всевышний Парфюмер решил создать духи — аромат самой жизни, но с явно уловимыми нотками гниения, аромат смерти, но с веяниями расцветающей природы.

Много чего было намешано в Кузмине, но это не гармония и не эклектика, это какой-то другой способ сочетания.

Проза Кузмина изумительна по своей чистоте. Ни слова лишнего. Олимпийское спокойствие даже на самых рискованных темах.

Было в самом Кузмине что-то от графа Калиостро. Никто бы особенно не удивился, если бы Кузмин сказал, что родился несколько тысяч лет назад в Египте, побывал в России при матушке Екатерине, помнит куртуазные беседы со своими французскими друзьями-маркизами.

Кузмин писал музыку для постановки блоковских пьес.

Кузмин сочинял оперетты, и это доставляло ему денег на пропитание. Иногда он мечтал стать писателем, как Леонид Андреев, писать черти что, лишь бы доходно.

От первых слов в таверне вороватой

Прошла верна, то нищей, то богатой,

До той поры, когда, без сил упав,

В песок чужой, вдали родимых трав,

Была зарыта шпагой, не лопатой

Манон Леско!

Твёрдые формы в русской поэзии мало кому удавались, но зато уж если удавались, то получались настоящие шедевры.

Твёрдые формы в русской поэзии были строго поделены: Вячеслав Иванов — сонет, Сологуб — триолет. Рондо и секстина достались Кузмину.

Причудливы и изворотливы пути Духа Божьего между людей. Святость — соблазнительна. Уж Руси ли с её традициями юродства этого не знать!

По легкомыслию не знать за собой греха — чем не вариант безгрешности?

Именно это благое, блаженное легкомыслие так бесило Ахматову: «Перед ним самый смрадный грешник — воплощённая благодать».

У иудеев есть предание о ламедвавниках — тридцати шести тайных праведниках, на которых держится мир. По недостатку воображения люди предполагают, что эти незримые столпы человечества запрятаны среди нищих, гонимых, несчастных. Трудно предположить, что Бог может удовлетвориться такой очевидной и прямолинейной

игрой. Не правильнее ли будет искать ламедвавников среди изнеженных богачей, хитроумных политиков, блестящих куртизанок? И особенно внимательно стоит рассматривать изнеженных, хитроумных и блестящих поэтов.

*Не губернаторша сидела с офицером,
Не государыня внимала ординарцу,
На золочёном, закручённом стуле
Сидела Богородица и шила.
<...>*

*Я женщина. Жалею и злодея.
Но этих за людей я не считаю.
Ведь сами от себя они отверглись
И от души бессмертной отказались.
Тебе предам их. Действуй справедливо.*

Кузмин всегда был вне политики. Ему было как-то не до того. Да и не к лицу.

Удивительно, с какой ясностью и трезвостью воспринял он Октябрьский переворот и большевистскую власть.

По всей видимости, политика не терпит дилетантства. Прокляли большевиков или если не профессиональные политики, то люди вовлечённые, как Гиппиус и Мережковский, или люди от политики совершенно далёкие, как Бунин, Гумилёв, Кузмин. А вот смутные политические желания Блока, Брюсова, Городецкого, Клюева привели к непростительным ошибкам.

И Кузмин очень хорошо понимает, чего он ждёт на смену большевизму. А чтобы всё стало так, как раньше: «Шабли во льду, поджаренная булка». Придёт Врангель, придёт Колчак, придут союзники...

Никто не пришёл.

Практически всё, написанное Кузминым в последние семь лет жизни, утеряно. Чекисты постарались.

Что же было в этих архивах? Что же он написал после «Форель разбивает лёд»?..

Кузмину принадлежат классические переводы Апулея и Анри де Ренье.

У Кузмина был свой собственный, оригинальный способ изучать иностранные языки: надо просто взять книгу и стараться интуитивно понять текст, только в самых крайних случаях прибегая к помощи словаря.

Когда Чуковскому потребовались переводы из Уайльда, он обратился к Кузмину. А к кому другому? Чуковский был очень недоволен качеством переводов, кузминской отсбятиной.

Возможно, интуитивно понять латынь и французский удалось лучше, чем английский.

*Мы этот май проводим как в деревне:
Спустили шторы, сняли пиджаки,
В переднюю бильярд перетащили
И половину дня стучим киями
От завтрака до чая.*

В автопародии или до самоцензуры было написано: «И половину дня стучим...» понятно чем.

Критики крепко запомнили слова Кузмина о прекрасной ясности и всю его поэзию трактовали именно в этом ключе, начисто отрицая любую эволюцию поэтического дара. А «Форель разбивает лёд» — поэма сложная, со множеством подтекстов. С экспрессионистской эстетикой, с майринковской мистикой. А всё же и в ней есть не изменившая Кузмину прекрасная ясность, так что критики, может быть, не так уж неправы.

«Ахматовской звать не будут ни улицу, ни строку», — сетовала Ахматова, написавшая «Поэму без героя» кузминской строфой из «Форель разбивает лёд». «Поэма без героя», спору нет, гениальное произведение, но Кузмин изображён в нём пасквильно.

Кузмин умер в 1936 году. Юркун вспоминал, что умирал поэт легко и даже радостно. Успение.

Успев умереть до начала большого террора, Кузмин уберётся от сомнительной славы жертвы режима. Не дожить до расстрела Юркуна тоже было — счастье.

В 19-м веке в русской поэзии был «щастливый Вяземский», в 20-м веке был щастливый Кузмин. Вяземский в собственное счастье не верил.

Любая эпоха страшна, любая убийственна, но для любой есть люди, судьбы, которые ей не по зубам. Как будто какая-то незримая сила хранит своего поэта. Но стоит поэту умереть, и всё идет прахом: начинается большой террор, потом Вторая мировая. Как будто на одном Кузмине хоть какое-то благополучие ещё держалось.

Если есть такой поэт в 21-м веке, то дай Бог ему долголетия. Пусть всех нас переживёт.